

Редьярд Киплинг

На городской стене



*Часть сборника
Ворота ста печалей (сборник)*



Редьярд Жозеф Киплинг На городской стене

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21549543

Киплинг, Редьярд. Ворота ста печалей [рассказы : перевод с английского]: Издательство «Э»; Москва; 2016

ISBN 978-5-699-91851-5

Аннотация

«...Вали-Дад имел обыкновение часами лежать в оконной нише, не сводя глаз с этого пейзажа. Это был молодой мусульманин, который жестоко пострадал от своего английского образования и сознавал это. Отец отдал его в одну миссионерскую школу поучиться премудрости, и Вали-Дад вкусил этой премудрости больше, чем отец его и миссионеры считали нужным. Когда отец его умер, Вали-Дад стал самостоятельным и провел два года, экспериментируя с различными религиями земли и читая никому не нужные книги.

После неудачной попытки одновременно принять католичество и пресвитерианство (миссионеры разоблачили его и ославили, не понимая его душевной трагедии) он нашел на городской стене Лалан и стал самым верным из ее немногих поклонников. Голова у него была такая, что английские художники могли бы безумно увлечься ею и принялись бы рисовать ее на фоне немислимой обстановки, а женщины-

романистки могли бы с восторгом описывать его лицо на протяжении девятисот страниц. На самом деле он был всего-навсего чистокровный молодой мусульманин...»

Редьярд Киплинг

На городской стене

*И спустила она их на веревке через окно,
ибо дом ее был в городской стене и она
жила в стене.*

Книга Иисуса Навина, 1, 15.

Лалан – представительница самой древней в мире профессии. *Лилит* была ее прапрапрабабушкой, а это, как известно, было еще до дней Евы. На Западе люди оскорбительно отзываются о профессии Лалан, сочиняют о ней трактаты и раздают их молодым людям в целях сохранения нравственности. На Востоке, где профессия эта наследственная и переходит от матери к дочери, никто не пишет трактатов и не обращает на нее внимания, и это – явное доказательство того, что Восток не способен устраивать свои собственные дела.

Законным мужем Лалан, ибо на Востоке даже ее подруги по профессии тоже должны иметь мужей, было большое дерево – *ююба*. Ее мамаша, которая в свое время вышла замуж за фиговое дерево, истратила десять тысяч рупий на брак Лалан, совершенный сорока семью духовными лицами из машиного храма, и раздала пять тысяч рупий на бедных. Таков был обычай страны. Замужество с деревом – *ююбой* – дает очевидные преимущества. Нельзя задеть самолюбие та-

кого мужа, и вид у него внушительный.

Муж Лалан стоял на равнине за городскими стенами, а сама Лалан жила на восточной стене, против реки. Если вы сорветесь с широкого подоконника, вы упадете с тридцатифутовой высоты прямо в городской ров. Но если останетесь стоять на месте и посмотрите вперед – увидите весь городской скот, бредущий на водопой, студентов Государственного колледжа, играющих в крикет, высокую траву и деревья, окаймляющие речной берег, большие песчаные отмели, бороздящие реку, красные гробницы умерших императоров за рекой и далеко-далеко мерцающий сквозь голубую дымку зноя блеск гималайских снегов.

Вали-Дад имел обыкновение часами лежать в оконной нише, не сводя глаз с этого пейзажа. Это был молодой мусульманин, который жестоко пострадал от своего английского образования и сознавал это. Отец отдал его в одну миссионерскую школу поучиться премудрости, и Вали-Дад вкусил этой премудрости больше, чем отец его и миссионеры считали нужным. Когда отец его умер, Вали-Дад стал самостоятельным и провел два года, экспериментируя с различными религиями земли и читая никому не нужные книги.

После неудачной попытки одновременно принять католичество и пресвитерианство (миссионеры разоблачили его и ославили, не понимая его душевной трагедии) он нашел на городской стене Лалан и стал самым верным из ее немногих поклонников. Голова у него была такая, что английские ху-

дожники могли бы безумно увлечься ею и принялись бы рисовать ее на фоне невыносимой обстановки, а женщины-романистки могли бы с восторгом описывать его лицо на протяжении девяти сот страниц. На самом деле он был всего-навсего чистокровный молодой мусульманин; брови у него были словно вычерченные карандашом, ноздри тонкие, ноги и руки маленькие, а взгляд очень усталый. В двадцать два года он отрастил красивую черную бороду, которую с гордостью поглаживал и душил тонкими духами. Казалось, что в жизни у него только два дела: брать книги у меня и ухаживать за Лалан в оконной нише. Он сочинял про нее песни, и песни эти до сих пор поются в городе от улицы Торговцев Бараниной до квартала Медников.

В одной из этих песен, самой изящной, говорится о том, как прекрасна Лалан: она смутила сердца членов британского правительства, так что оно утратило душевное спокойствие. Так поется эта песня на улицах; но если повнимательнее в ней разобраться и узнать ключ к ее истолкованию, можно заметить в ней три каламбура – на слова «красота», «сердце» и «душевное спокойствие», так что песню можно понять и так: «Благодаря хитроумию Лалан в государственном управлении произошел беспорядок, и это погубило такого-то и такого-то человека». Когда Вали-Дад поет эту песню, глаза его горят как угли, а Лалан откидывается на подушки и бросает в Вали-Дада пучками жасмина.

Но сначала нужно кое-что рассказать о Верховном Прави-

тельстве, которое стоит надо всем, подо всем и позади всего. Из Англии приезжают джентльмены, проводят в Индии несколько недель, ходят вокруг этого великого Сфинкса Равнин и пишут книги о его делах и обычаях, порицая его или расхваливая, смотря по тому, что внушает им их собственное невежество. В результате весь свет знает, как ведет себя Верховное Правительство. Но никто, даже само Верховное Правительство, ничего не знает об управлении империей. Из года в год Англия высылает свежие подкрепления на передовую линию огня, которая официально именуется Ведомством Индийской Гражданской Службы. Эти люди умирают, или кончают с собой от непосильной работы, или замучиваются до смерти, или теряют здоровье и надежду, стремясь уберечь страну от мора и болезней, от голода и войны, чтобы со временем она стала способной к самостоятельной жизни. Она никогда не будет самостоятельной, но идея красива, люди добровольно за нее умирают, и работа продолжается из года в год: страну толкают вперед, умасливают, ругают и балуют, чтобы привести ее наконец к процветанию. Если замечается прогресс, заслуга приписывается туземцам, а англичане отступают назад, вытирая потные лбы. Если случается неудача, англичане выступают вперед и выслушивают порицания. Излишняя нежность такого рода породила среди многих туземцев твердую веру в то, что туземец сам способен управлять страной, и многие преданные делу англичане тоже этому верят, ибо данная теория выражается на прекрасном

английском языке и продается с новейшими политическими приправами.

Есть и другие люди: они хоть и неученые, но видят сны и видения и тоже мечтают управлять страной на свой лад, то есть с приправой из красного соуса. Такие люди встречаются в среде двухсотмиллионного народа, и, если за ними не следить, они могут наделать хлопот и даже разбить огромного идола, именуемого Рах Britannica и обитающего, по словам газет, между Пешаваром и мысом Коморин. Если заря Судного Дня настанет завтра, вы увидите, как Верховное Правительство «принимает меры к успокоению общественного возбуждения» и ставит стражу на кладбищах, чтобы мертвецы выступили в боевом строю. Младший из гражданских чиновников под личную свою ответственность арестует Гавриила, если этот архангел не сможет представить выданного помощником комиссара удостоверения, согласно которому разрешается «производить музыку и прочие шумы», как пишется в таких документах.

Отсюда легко понять, что обыкновенным смертным плохо придется от Верховного Правительства, если они вздумают заварить кашу. Так оно и бывает. Не наблюдается никаких внешних признаков тревоги, никакого смущения, никакой осведомленности о происходящем. Когда же необходимые и достаточные улики представлены, взвешены и приняты во внимание, механизм приходит в движение, а мечтатель и духовидец отрывается от своих друзей и последователей.

Он пользуется гостеприимством правительства, передвижение его, в известных пределах, не ограничено, но он уже больше не может общаться со своими братьями, мечтателями. Раз в шесть месяцев Верховное Правительство убеждается, что ему хорошо живется, и официально удостоверяет его существование. Никто не заявляет протеста против его заключения, ибо немногие люди, которые знают о нем, смертельно боятся показать, что они с ним знакомы, и никогда ни одна газета не «берется за его защиту» и не устраивает демонстраций в его честь, ибо индийские газеты не верят лживой поговорке, гласящей, что «Перо сильнее Меча», и умеют вести себя деликатно и осмотнительно.

Итак, теперь вы знаете все, что вам нужно знать о Вали-Даде, азиатско-европейском образовании и Верховном Правительстве.

Описание Лалан еще не было дано. Для этого, по словам Вали-Дада, требуется тысяча золотых перьев и чернила, надушенные мускусом. Ее уже сравнивали с разнообразными предметами: с луной, озером Диль-Сагар, пятнистой перепелкой, газелью, солнцем над пустыней Кач, зарей, звездами и молодым бамбуком. Все эти сравнения стремятся выразить, что она необычайно прекрасна по туземным понятиям, которые мало чем отличаются от западных. Глаза у нее черные, и волосы черные, и брови черные, как пиявки; рот у нее крошечный и говорит остроумные вещи; руки у нее крошечные и скопили много денег; ноги у нее крошечные и

попирали множество обнаженных мужских сердец. Но, как поет Вали-Дад, «Лалан – это Лалан, и когда вы произнесли это, вы подошли только к преддверию знания».

Маленький домик на городской стене едва вмещал в себя Лалан, ее служанку и кошку в серебряном ошейнике. Большая розовая с синим люстра из граненого стекла свешивалась с потолка приемной комнаты. Какой-то мелкий *наваб* подарил Лалан эту дрянь, а Лалан держала ее у себя из вежливости. Пол в комнате был из полированного *чунама*, белого как творог. В одной из стен было окно с решеткой из резного дерева, повсюду лежали мягкие, пухлые подушки и толстые ковры, а серебряная, выложенная бирюзой *хукка*, которую курила Лалан, стояла на отдельном коврике, всецело предоставленном ее блистательной особе. Вали-Дад служил здесь почти таким же незыблемым предметом домашней обстановки, как и люстра. Как я уже говорил, он лежал в оконной нише и размышлял о жизни, о смерти и о Лалан, особенно о Лалан. Стопы молодых горожан стремились к ее порогу и потом... удалялись, ибо Лалан была разборчивая девушка, не болтливая, замкнутая и ничуть не склонная к оргиям, которые почти всегда кончаются дракой.

– Если я ничего не стою, я недостойна такой чести, – говорила Лалан, – если же я кое-чего стою, они недостойны меня. – Это было хитроумное изречение.

В долгие жаркие ночи конца апреля и мая весь город, казалось, сходилса курить и беседовать в маленькой белой ком-

нате Лалан. Шииты самого мрачного и непримиримого толка; суфи, потерявшие всякую веру в пророка и сохранившие лишь очень слабую веру в бога; странствующие индуистские жрецы, зашедшие сюда по пути на юг в Центральную Индию, куда они ехали на ярмарки и по другим делам; *пандиты* в черных одеждах, с очками на носу и непереваренной мудростью внутри; бородатые старшины кварталов; сикхи, передающие все подробности последнего церковного скандала в Золотом Храме; красноглазые жрецы из-за Границы, похожие на затравленных волков и каркающие как вороны; магистры искусств с университетскими дипломами, очень напыщенные и очень словоохотливые, – все эти люди и многие другие встречались в белой комнате.

Вали-Дад лежал в оконной нише, прислушиваясь к беседе.

– Это – салон Лалан, – сказал мне Вали-Дад, – и он эклектичен – так, кажется, надо сказать? Нигде, кроме как в масонской ложе, я не видел таких сборищ. А там я как-то обедал с одним евреем – с одним яхуди. – Он плюнул в городской ров, извиняясь, что позволил национальным чувствам взять над собою верх. – Хоть я и потерял всякую веру на свете, – сказал он, – и стараюсь гордиться этой потерей, все же я не могу не чувствовать ненависти к евреям. Лалан не пускает сюда евреев.

– Но что же, собственно, делают все эти люди? – спросил я.

– Проклятие нашей родины! – промолвил Вали-Дад. – Они разговаривают. Подобно афинянам, вечно слушают и рассказывают какие-нибудь новости. Спросите Жемчужину, и она покажет вам, как много она знает городских и провинциальных новостей. Лалан знает все.

– Лалан, – молвил я наудачу (она разговаривала с джентльменом курдского толка, явившимся бог знает откуда), – когда пойдет 175-й полк в Агру?

– Он туда вовсе не пойдет, – ответила Лалан, не поворачивая головы. – Вместо него приказано выступить 118-му. А тот полк пойдет через три месяца в Лакхнау, если только не получит нового приказа.

– Это верно, – произнес Вали-Дад без тени сомнения. – Сумеете вы узнать больше со всеми вашими телеграммами и газетами?.. Вечно слушают и рассказывают какие-нибудь новости, – продолжал он. – Друг мой, поражал ли ваш бог какую-либо европейскую нацию за болтовню на базарах? Индия болтала целыми веками напролет, вечно торча на базарах, пока не приходили солдаты. Потому-то... вы сегодня здесь, вместо того чтобы помирать с голоду у себя на родине, а я – уже не мусульманин... Я продукт... продукт проклятия. И еще одним я обязан вам и вашим присным: не могу закончить ни одной фразы без того, чтобы не привести цитаты из ваших авторов. – Он затянулся дымом *хукки* и полупритворно-полусерьезно загрустил о разбитых надеждах своей юности. Вали-Дад всегда грустил о чем-нибудь: о родине, в кото-

рой отчаялся, о религии, в которой изверился, или о жизни англичан, которую никак не мог понять.

Лалан никогда не грустила. Она играла песенки на *сита-ре*, а слушать, как она пела «О павлин, крикни еще раз», было всегда по-новому приятно. Она знала все песни, какие когда-либо пелись: от военных песен Юга, которые побуждают стариков гневаться на молодежь, а молодежь гневаться на государство, до любовных песен Севера, в которых мечи, как рассерженные коршуны, клекочут в паузах между поцелуями, горные проходы наводняются вооруженными людьми, а влюбленного отрывают от его возлюбленной и он все кричит и кричит «ай, ай, ай!». Она умела готовить табак для *хукки* так, чтобы он благоухал, как Врата Рая, и мягко влек вас через них по воздуху. Она умела золотом и серебром вышивать причудливые узоры и тихо танцевать с лунным светом, когда он проникал в окно. Она знала сердца людей и сердце города, знала, чьи жены верны и чьи изменяют мужьям, знала тайны государственных учреждений – знала их больше, чем следовало бы. Насибан, ее служанка, говорила, что драгоценности ее стоят десять тысяч фунтов стерлингов и что когда-нибудь ночью придет вор и убьет ее, чтобы завладеть ими, но Лалан говорила, что весь город разорвал бы такого вора на куски, а вор, кто бы он ни был, знает это.

Итак, она взяла *ситар*, села на подоконник и запела старинную песню, которую пела девушка, занимавшаяся ее ремеслом в военном лагере накануне великой битвы, за день до

того, как по бродам Джамны потекли красные струи и Сиваджи бежал за пятьдесят миль, в Дели, ведя в поводу турецкого жеребца и увозя на седле другую Лалан. Это была махратская *лаони*, и в ней говорилось:

И вот войска из Чимнаджй
Повел вперед Пешвой,
И Дети Солнца и Огня
Бежали прочь толпой.

А хор подхватывал:

В тюрбане алом их разит
Мечом ездок лихой;
За деньги юный богатырь
Рискует головой.

– Рискует головой, – повторил Вали-Дад по-английски, обращаясь ко мне. – Спасибо вашему правительству, головы наши охраняются, и, обладая преимуществами образованного человека, – глаза его блеснули, – я мог бы стать видным членом местного управления. Возможно, со временем я мог бы даже стать членом Законодательного Совета.

– Не говорите по-английски, – промолвила Лалан, снова склоняясь над *ситаром*.

Пение хора неслось с городской стены к потемневшей стене Форта Амары, который возвышается над городом. Никто

не знает точно, как велик Форт Амара. Три царя строили его сотни лет назад, и говорят, что под стенами его подземные покои тянутся на много миль. Населяют его множество призраков, гарнизонная артиллерийская батарея и рота пехоты. В эпоху своего расцвета он вмещал десять тысяч человек и рвы свои набивал трупами.

– Рискует головой, – снова и снова пела Лалан.

На одной из стен показалась голова, седая голова старика; и голос грубый, как кожа акулы на рукоятке меча, повторил последнюю фразу хорового припева и вдруг запел песню, которой я не понимал. Но Лалан и Вали-Дад слушали ее напряженно.

– Что это такое? – спросил я. – Кто это?

– Стойкий человек, – промолвил Вали-Дад. – Он сражался с вами в 46-м году, когда был «юным богатырем», снова бился с вами в 57-м году и пробовал одолеть вас в 71-м, но вы слишком хорошо научились искусству расстреливать людей из пушек. Теперь он старик, но все-таки продолжал бы сражаться, если бы хватило сил.

– Так, значит, он *ваххаби*? Но если он ваххаби или сикх, почему он откликается на махратскую *лаони*? – спросил я.

– Не знаю, – ответил Вали-Дад. – Быть может, он изверился в своей вере. Быть может, хочет быть царем. Быть может, он и есть царь. Я не знаю его имени.

– Это ложь, Вали-Дад. Если вы знаете его жизнь, вы должны знать и его имя.

– Совершенно верно. Я из нации лжецов. Но мне не хочется называть вам его имени. Узнайте сами.

Лалан, кончив песню, кивнула на форт и сказала просто:
– Кхем-Сингх.

– Хм, – промычал Вали-Дад. – Если Жемчужина решила назвать вам имя, Жемчужина глупа.

Я перевел это Лалан, и она рассмеялась.

– Я сказала потому, что мне вздумалось так сказать. Они держали Кхем-Сингха в Бирме, – промолвила она. – Держали его там много лет, пока разум его не изменился в нем. Так велика была милость правительства. Но, обнаружив перемену, они вернули его на родину, чтобы он успел взглянуть на нее, прежде чем умрет. Он старик, но, когда глядит на свою родину, память его возвращается. Кроме того, многие помнят его.

– Он интересный пережиток, – сказал Вали-Дад, затягиваясь *хуккой*. – Он возвращается в страну теперь, когда она наводнена реформами в области просвещения и политики, но, как говорит Жемчужина, много людей помнят его. Некогда он был великим человеком. В Индии больше не будет великих людей. В молодости все они будут развратничать с чужеземными богами, а потом станут «гражданами», «согражданами», «именитыми согражданами». Так, кажется, называют их туземные газеты?

Вали-Дад был, видимо, в очень дурном настроении. Лалан выглянула в окно и улыбнулась, глядя на дымку пыли.

Я ушел, думая о Кхем-Сингхе, который некогда делал историю с тысячью последователями и мог бы стать владельческим князем, не будь власти Верховного Правительства, о котором уже упоминалось.

Главный комендант Форта Амары уехал в отпуск, а младший комендант, его помощник, отправился в клуб, где я встретил его и спросил, правда ли, что к прочим достопримечательностям Форта прибавилась новая в образе политического преступника. Помощник коменданта рассказал мне все с большими подробностями, ибо он впервые командовал Фортом и бремя власти тяготило его.

– Да, – сказал он, – с неделю назад ко мне прислали этого человека; он настоящий джентльмен, кто бы он ни был. Конечно, я сделал для него все, что мог. У него было двое собственных слуг и несколько серебряных кастрюль, и он точь-в-точь был похож на туземного офицера. Обращаясь к нему, я называл его *субадар-сахиб*; лучше, знаете, сразу же завязать приличные отношения. «Слушайте, субадар-сахиб, – сказал я, – вы мне препоручены, и считается, что я обязан вас сторожить. Мне не хочется портить вам жизнь, но и вы сами должны помочь мне. Весь Форт в вашем распоряжении, от флагштока до сухого рва, и я буду счастлив всячески угождать вам по мере сил, но вы не должны этим злоупотреблять. Дайте мне слово, субадар-сахиб, что вы не будете делать попыток к бегству, и я дам вам слово, что вас будут сторожить не строго». Я решил, что лучший путь привлечь его

к себе – это поговорить напрямик, знаете, и, клянусь Юпитером, так оно и вышло! Старик дал мне слово и теперь довольный ходит по Форту, как больная ворона. Он – странный малый, постоянно просит объяснить, где именно он находится и какие вокруг него здания. Когда он появился здесь, мне пришлось подписать клочок голубой бумажки в подтверждение того, что я принял его тело, и прочее, и прочее, и, вы понимаете, если он удерет, отвечаю я. И все-таки как-то чудно присматривать за человеком, который вам в дедушки годится, не так ли? Хотите как-нибудь на днях зайти в Форт и поглядеть на него?

По причинам, которые выяснятся в дальнейшем, я ни разу не заходил в Форт, пока Кхем-Сингх находился в его стенах. Из всего его облика мне знакомы были только его седая голова, виденная из окна Лалан, – седая голова и грубый голос. Но туземцы рассказывали мне, что день за днем он смотрел на прекрасные окрестности Амары, и память возвращалась к нему, а вместе с нею возвращалась и старая ненависть к правительству, совсем было угасшая в далекой Бирме. Итак, он в ярости бродил по западной стороне Форта от утра до полудня и от вечера до поздней ночи, предаваясь беспочвенным размышлениям, и каркал военные песни, в то время как Лалан пела на городской стене. Несколько ближе познакомившись с помощником коменданта, он стал сбрасывать со своего старого сердца бремя иссушивших его страстей.

– Сахиб, – говаривал он, стуча палкой по парапету, – в

молодости я был одним из тех двадцати тысяч всадников, которые выехали из города и ездили тут по равнине. Сахиб, я был вождем сотни, потом тысячи, потом пяти тысяч людей, а теперь?! – Он кивнул на двух своих слуг. – Но с тех пор и до нынешнего дня я резал бы глотки всем сахибам в стране, если бы только мог. Крепче держите меня, сахиб, иначе я убегу и вернусь к тем, кто пожелает следовать за мной. Я позабыл о них, когда был в Бирме, но теперь я опять на своей родине и помню все.

– Вы помните, что честью своей обещали мне не превращать вашего заключения в затруднительную для меня обязанность? – сказал помощник коменданта.

– Да, вам, но только вам, сахиб, – сказал Кхем-Сингх. – Вам, потому что у вас приятное обращение. Если настанет мой черед, сахиб, я не повешу вас и не перережу вам горла.

– Благодарю вас, – серьезно промолвил помощник коменданта, глядя на веранду пушек, способных в полчаса стереть весь город в порошок. – Пойдемте домой, Кхем-Сингх. Зайдите поболтать со мной после обеда.

Кхем-Сингх обычно сидел на собственной подушке у ног коменданта, пил большими глотками резко пахнущую анисовую настойку и рассказывал странные истории о Форте Амаре, который в старину был дворцом, о *бегамах* и *рани*, замученных до смерти в той самой комнате со сводчатым потолком, которая теперь служила офицерской столовой; рассказывал истории о Собраоне, от которых щеки помощника

коменданта вспыхивали и горели расовой гордостью, о восстании куков, от которого так много ждали и которое предвидели сто тысяч душ. Но он никогда не рассказывал о 57-м годе, ибо он, по его собственным словам, был гостем помощника коменданта, а 57-й год – это такой год, о котором ни один человек, будь он черный или белый, говорить не любит. Только раз, когда анисовая настойка слегка вскружила ему голову, он сказал:

– Сахиб, если уж говорить о времени между Собраоном и восстанием куков, то мы всегда изумлялись тому, как вы вообще выдержали все это, а выдержав, не превратили всю страну в сплошную темницу. Теперь до меня извне доходят слухи, что вы оказываете великую честь всем людям нашей страны и собственными руками уничтожаете ужас, внушаемый вашим именем, ужас, который служит вам крепкой скалой и защитой. Это глупо. Разве масло и вода могут смешаться? А вот в 57-м...

– Я тогда еще не родился, субадар-сахиб, – сказал помощник коменданта, и Кхем-Сингх, пошатываясь, ушел в свое помещение.

Помощник коменданта рассказывал мне в клубе об этих беседах, и мое желание видеть Кхем-Сингха возросло. Но Вали-Дад, сидя на подоконнике в доме на городской стене, говорил, что это было бы жестоко, а Лалан притворялась обиженной, что я предпочитаю общество седого старого сикха ее обществу.

– Здесь и табак, и беседа, и много друзей, и все городские новости, и, главное, я сама. Я буду рассказывать вам сказки и петь песни, а Вали-Дад будет болтать всякую английскую чепуху. Разве это хуже, чем там смотреть на зверя в клетке? Пойдите завтра, если уж вам так хочется, но сегодня сюда придут такой-то и такой-то, и они будут рассказывать замечательные вещи.

Случилось так, что это «завтра» не наступило и теплая погода конца дождливого периода сменилась прохладой начала октября раньше, чем я успел заметить, как убегает год.

Комендант Форта вернулся из отпуска и, согласно закону старшинства, взял под свою опеку Кхем-Сингха. Комендант был неприятный человек. Он всех туземцев называл «чернокожими», что не только в высшей степени неучтиво, но выказывает грубое невежество.

– К чему отряжать двух *Томми* сторожить этого старого негра? – сказал он.

– Я думаю, что это тешит его тщеславие, – сказал помощник. – Солдатам приказано держаться от него подальше, но он считает их как бы данью своему величию... Бедный старик!

– Я не допущу, чтобы для этого отрывали двух строевых солдат от охраны Форта. Приставьте к нему пару туземных пехотинцев.

– Сикхов? – спросил помощник, поднимая брови.

– Сикхов, патанов, догр – все они на один лад черные тва-

ри. – И комендант заговорил с Кхем-Сингхом в таком тоне, что это сильно задело самолюбие старого джентльмена. Пятнадцать лет назад, когда его во второй раз взяли в плен, все смотрели на него как на тигра. И ему нравилось, когда на него так смотрели. Но он забыл, что за пятнадцать лет мир ушел вперед и многие младшие офицеры дослужились до капитанов.

«А что, капитан-свинья все еще командует Фортом?» – каждое утро спрашивал Кхем-Сингх у своего туземного стража.

И туземный страж отвечал: «Да, субадар-сахиб» – из уважения к его возрасту и величественному виду; но стражи не знали, кто он такой.

В те дни в белой комнате Лалан всегда собиралось большое общество и разговаривало еще оживленнее, чем раньше.

– Греки, – говорил Вали-Дад, недаром бравший у меня книги, – жители города Афин, где они постоянно слушали и рассказывали какие-нибудь новости, держали в строгом заключении своих женщин, которые в большинстве были дуры. Отсюда великолепный институт женщин-гетер – так я говорю? – которые были занимательны и не дуры. Все греческие философы наслаждались их обществом. Скажите мне, друг мой, как теперь обстоит дело в Греции и других местах европейского континента? Что, ваши женщины тоже дуры?

– Вали-Дад, – сказал я, – вы никогда не говорите нам о своих женщинах, а мы никогда не говорим вам о своих. Это

– преграда между нами.

– Да, – сказал Вали-Дад. – Странно, как подумаешь, что мы встречаемся только здесь, в доме публичной... так вы ее называете? – Он показал на Лалан трубочным мундштуком.

– Лалан – это Лалан, – сказал я, и это была истинная правда. – Но если бы вы, Вали-Дад, заняли ваше настоящее место в мире и отказались от мечтаний...

– Я стал бы носить английский пиджак и брюки. Мог бы сделаться видным мусульманским адвокатом. Пожалуй, даже попал бы на теннис к комиссару, где англичане стоят на одной стороне, а туземцы на другой, с целью «способствовать развитию общественных взаимоотношений во всей империи». Сердце сердца, – быстро сказал он, обращаясь к Лалан, – сахиб говорит, что я должен покинуть вас.

– Сахиб всегда говорит глупости, – со смехом откликнулась Лалан. – В этом доме я царица, а ты царь. А сахиб, – она заломила руки над головой и на минуту задумалась, – сахиб будет нашим *вазиром*, твоим и моим, Вали-Дад, ибо он сказал, что ты должен покинуть меня.

Вали-Дад неумеренно громко расхохотался; я засмеялся тоже.

– Пусть так, – сказал он. – Друг мой, вы желаете занять этот прибыльный государственный пост? Лалан, какое положить ему жалованье?

Но Лалан начала петь, и во весь этот вечер нельзя было добиться разумного ответа ни от нее, ни от Вали-Дада. Когда

одна умолкала, другой принимался декламировать персидские стихи с тройными каламбурами через каждую строчку. Некоторые из них носили не вполне пристойный характер, но все это было очень смешно и кончилось только в тот момент, когда какой-то толстый человек в черном костюме и золотом пенсне велел доложить о себе Лалан. Тогда Вали-Дад увлек меня в мерцающую ночь, и мы стали гулять в большом саду, где росли розы, и высказывать еретические взгляды на религию, и правительства, и жизненный путь мужчины.

Наступал *Мухаррам* – большой траурный мусульманский праздник, и все то, что говорил Вали-Дад о религиозном фанатизме, могло бы послужить причиной к его исключению из самой свободомыслящей мусульманской секты. Вокруг нас были розовые кусты, над нами звезды, а изо всех кварталов города неся бой больших барабанов Мухаррама. Вам нужно знать, что город делится на две равные части между индустами и мусульманами и там, где обе веры исповедуются воинственными расами, большой религиозный праздник дает много поводов к беспорядкам. Индуисты, если только это в их силах, вернее сказать, если власти достаточно слабы, чтобы позволить им это, всячески стараются устроить какой-нибудь свой второстепенный праздник так, чтобы он совпал с периодом всеобщего оплакивания мучеников Хасана и Хусайна, героев Мухаррама. Изображения их гробниц, сделанные из золотой и раскрашенной бумаги, носят с

криками, стонами, музыкой, факелами и воплями по всем главным улицам города. Эти изображения называются тазиями. Полиция заранее строго регулирует направление их движения, и полицейские отряды сопровождают каждую тазию из опасения, что индуисты станут кидать в нее кирпичами и тогда Мир Королевы будет нарушен, а головы ее верноподданных разбиты. Период Мухаррама в «воинственном» городе причиняет беспокойство всем властям: если вспыхивает бунт, отвечают власти, а не бунтовщики. Первые обязаны все предвидеть и, не принимая слишком тщательных, а потому комических мер предосторожности, обязаны постараться, чтобы эти меры были, во всяком случае, достаточными.

– Прислушайтесь к барабанам! – сказал Вали-Дад. – Вот прообраз души народа; они пусты, но производят много шума. А как, по вашему мнению, пройдет Мухаррам в нынешнем году? Я думаю, что будут беспорядки.

Он свернул в переулок и оставил меня одного со звездами и заспанным полицейским патрулем. Тогда я ушел спать и видел во сне, что Вали-Дад занял и разграбил город, а меня назначили *вазиром* и серебряная *хукка* Лалан стала знаком моей власти.

Барабаны Мухаррама весь день гремели в городе, а депутаты слезливых индуистских джентльменов весь день осаждали помощника комиссара, уверяя его, что мусульмане убьют их раньше, чем займется заря следующего дня.

– А это, – конфиденциально сообщил помощник комис-

сара начальнику полиции, – довольно явный признак того, что индуисты собираются наделать неприятностей. Я думаю, что мы сможем устроить им маленький сюрприз. Я сделал строгое предупреждение главам обоих вероисповеданий. Если они не обратят на него внимания, тем хуже для них.

В ту ночь у Лалан собралось много народу, но все это были люди, которых я никогда раньше не встречал, если не считать толстого джентльмена в черном костюме и золотом пенсне. Вали-Дад лежал в оконной нише, и я никогда не видел, чтобы он с таким гневным презрением сердился на свою веру и ее проявления. Служанка Лалан усердно резала и смешивала табак для гостей. Мы слышали гром барабанов, когда процессии, сопровождавшие каждую тазияу, шли к главному сборному пункту на равнине за городом, готовясь к торжественному возвращению и обходу города внутри стен. Все улицы, казалось, горели в огне факелов, и только Форт Амара был черен и безмолвен. Когда грохот барабанов утих, все гости некоторое время не говорили ни слова.

– Двинулась первая тазия, – молвил Вали-Дад, глядя на равнину.

– Что-то уж очень рано, – сказал человек в пенсне. – Всего только половина девятого.

Гости встали и разошлись.

– Некоторые из них уроженцы Ладакха, – сказала Лалан, когда ушел последний гость, – они привезли мне кирпичного чаю, такого, какой продают русские, и самовар из Пешавара.

Ну, теперь покажите мне, как английские мем-сахиб готовят чай.

Кирпичный чай был отвратителен. Когда его выпили, Вали-Дад предложил мне спуститься на улицу.

– Я почти уверен, что нынче ночью будут беспорядки, – сказал он. – Весь город так думает, а *vox populi – vox dei*¹, как говорят бабу. А теперь имейте в виду, что на углу у Падшаховых ворот всю ночь будет стоять моя лошадь и вы можете взять ее, если вам захочется проехаться и понаблюдать события. Это в высшей степени неизящное зрелище. Ну что хорошего твердить «Йа, Хасан! Йа, Хусайн!» двадцать тысяч раз за ночь?

Все процессии, а их было двадцать две, находились теперь внутри городских стен. Барабаны забили снова, толпа выла «Йа, Хасан! Йа, Хусайн!» и била себя в грудь, духовые оркестры играли елико возможно громче, и на каждом углу, где позволяло пространство, мусульманские проповедники рассказывали жалостливую повесть о смерти мучеников. Невозможно было двигаться иначе как вместе с толпой, ибо улицы были не шире двадцати футов. В индуистских кварталах ставни всех лавок были закрыты и задвинуты засовами. Когда первую тазию, роскошное сооружение в десять футов высотой, торчавшую на плечах у двух десятков крепких мужчин, унесли в полумрак улицы Всадников, обломок кирпича внезапно продырявил ее тальковый и фольговый бок.

¹ Глас народа – глас Божий (*лат.*).

– В руки твои, о господи! – кощунственно пробормотал Вали-Дад, а сзади раздался вопль, и туземный полицейский офицер пропихнул свою лошадь через толпу. За первым обломком кирпича последовал второй, и тазия, остановившись, дрогнула и закачалась.

– Проходите! Именем *саркара*, приказываю: идите вперед! – заорал полицейский, но тут раздался безобразный треск разбиваемых ставен, и толпа с руганью и ропотом остановилась перед тем домом, откуда был брошен кирпич.

Тогда внезапно разразилась буря, и не только на улице Всадников, но и в полудюжине других мест. Тазии качались, как корабли на море, длинные факельные шесты ныряли и вздымались вокруг них, а люди орали:

– Индуисты оскверняют тазии! Бейте! Бейте! Бегите в их храмы во славу веры!

Шесть или восемь полицейских, сопровождавших каждую тазию, подняли дубинки и изо всех сил принялись колотить куда попало, надеясь заставить толпу продвинуться вперед, но их смяли, и, когда толпы индуистов наводнили улицы, началось всеобщее побоище. В полутора милях отсюда, там, где тазии были еще не тронуты, все еще раздавался бой барабанов и пронзительные крики «Йа, Хасан! Йа, Хусайн!», но слышались они недолго. Духовные лица, стоявшие на углах улиц, отламывали ножки, подпиравшие их кафедры, и орудовали ими во славу веры; камни летели из тихих домов во врага и друга, а запруженные улицы ревели:

– Дин! Дин! Дин!

Одна тазия загорелась и упала пылающей преградой между индуистами и мусульманами на перекрестке. Тогда толпа ринулась вперед, и Вали-Дад притиснул меня к каменному столбу какого-то колодца.

– Все это было подстроено нарочно с самого начала! – крикнул он мне в ухо с большей горячностью, чем этого можно было ожидать от настоящего атеиста. – Кирпичи заранее были принесены в дома. Свиньи эти индуисты! Нынче ночью мы будем потрошить коров в их храмах!

Тазия за тазией, одни пылающие, другие разорванные на куски, мчались мимо нас, и толпа мчалась вместе с ними, воя, пронзительно визжа и на бегу стуча в двери домов. В конце концов мы поняли причину этого бегства. Хьюгонин, помощник окружного инспектора полиции, двадцатилетний юноша, собрал тридцать констеблей и гнал толпу по улицам. Его старая серая полицейская лошадь не выказывала никакого неудовольствия, когда ударами шпор ее заставляли грудью напирать на толпу, а длинный хлыст, которым он вооружился, ни минуты не имел покоя.

– Они знают, что полиции не хватает, чтобы их сдержать, – крикнул он, поравнявшись со мной и вытирая порезанное в кровь лицо. – Они знают, что нас мало. Неужели же ребята из клуба не придут нам помочь? Двигайтесь, вы, сыновья сожженных отцов! – Хлыст щелкал по ежившимся спинам, а констебли снова колотили людей палками и ружейными при-

кладами. Огни промчались мимо, крики утихли, и Вали-Дад начал негромко ругаться. Из Форта Амары взвилась одна ракета, потом две сразу. Это был сигнал к сбору войсковых частей.

Помощник комиссара Питит, покрытый пылью и потом, но спокойный, с мягкой улыбкой на лице, проскакал по очищенной от народа улице вслед за главной толпой бунтовщиков.

– Еще никто не убит! – крикнул он. – Я буду гнать их до самой зари! Не позволяйте им останавливаться, Хьюгонин! Гоните их, пока не придут войска.

Метод защиты сводился лишь к тому, чтобы заставлять толпу двигаться. Дайте им возможность отдышаться, они остановятся и подожгут какой-нибудь дом, и тогда восстановить порядок будет очень трудно, чтобы не сказать больше. Пламя действует на толпу не меньше, чем кровь на дикого зверя.

Слухи дошли до клуба, и мужчины во фраках стали появляться на улицах и помогать полиции гнать и рассеивать орудие массы при помощи стременных ремней, хлыстов и подобранных где попало дубинок. На них нападали не очень часто, ибо у бунтовщиков хватало здравого смысла сообразить, что смерть европейца повлечет за собой повешение, и не одного только человека, а многих, а возможно даже – появление трижды страшной артиллерии.

Шум в городе удвоился. Индуисты вышли на улицы с

самыми серьезными намерениями, и немного погодя толпа вернулась назад. Странное это было зрелище. Тазий больше не было, остались только их разломанные подпорки, и полиции также не было видно. Кое-где показывался какой-нибудь городской деятель, индуист или мусульманин, и тщетно умолял своих единоверцев успокоиться и вести себя лучше; за такие советы его оскорбительно дергали за белую бороду. Толпа влекла за собой полицейского офицера-туземца; он был пеший, но с успехом пускал в ход свои шпоры, предупреждая всех и каждого о том, как опасно оскорблять правительство. Повсюду люди колотили палками кого попало, хватали друг друга за горло, с пеной у рта выли от ярости, голыми руками стучали в двери домов.

– Счастье, что они дерутся природным оружием, – сказал я Вали-Даду, – не то полгорода было бы перебито.

Говоря это, я обернулся и взглянул ему в лицо. Ноздри его раздувались, взгляд остановился, и он тихо бил себя в грудь.

Толпа промчалась мимо в еще большем исступлении. Это была толпа мусульман, теснимая несколькими сотнями индуистских фанатиков. Вали-Дад, выругавшись, покинул меня с воплем: «Йа, Хасан! Йа, Хусайн!» – и окунулся в самую гущу битвы, где я и потерял его из виду.

Я побежал проулками к Падшаховым воротам, вблизи них отыскал дом Вали-Дада и оттуда верхом поехал в Форт. Едва я выехал за городскую стену, как грохот несколько затих, превратившись в глухой рев, что под звездами производи-

ло сильное впечатление и говорило в пользу тех пятидесяти тысяч рассерженных сильных людей, которые так ревели. Войска, которым по настоянию помощника комиссара велено было бесшумно собраться у Форта, не выказывали никаких признаков волнения. Две роты туземной пехоты, эскадрон туземной кавалерии и рота британской пехоты стояли, постукивая каблуками, перед восточным фасадом, ожидая приказа к выступлению. Мне стыдно сознаться, что все они очень радовались, неприлично радовались случаю получить «маленькое развлечение», как они выражались. Старшие офицеры, правда, ворчали на то, что их подняли с постели, а английские солдаты притворялись хмурыми, но в сердцах у всех младших офицеров царил радость, и по шеренгам бежал шепот:

– Не брать боевых патронов – вот позор!

– Неужели вы думаете, что эти мерзавцы действительно способны оказать нам сопротивление?

– Хотел бы я встретить там своего ростовщика! Я должен ему больше, чем могу заплатить.

– О, они не дадут нам и сабель из ножен вынуть!

– Ура! Вот и четвертая ракета! Пошли!

Гарнизонные артиллеристы, до последней минуты лелевавшие безумную надежду, что им позволят бомбардировать город с дистанции в сто ярдов, усеяли парапеты над восточными воротами и орали до хрипоты, когда британская пехота побежала по дороге к главным воротам города. Кавалерия

поскакала к Падшаховым воротам, а туземная пехота медленно зашагала к воротам Мясников. Сюрпризу намеренно придали самый неприятный характер: этим путем хотели отплатить за поражение полиции, которая только и сумела, что помешать мусульманам поджигать дома видных индуистов. Главный очаг бунта сосредоточился в северных и северо-западных кварталах. Восточный и юго-восточный в это время были темны и безмолвны, и я спешно поехал к дому Лалан, чтобы попросить ее послать кого-нибудь на поиски Вали-Дада. Дом не был освещен, но входная дверь была открыта настежь, и я в темноте вскарабкался по лестнице.

При свете единственной лампочки, горевшей в белой комнате, было видно, что Лалан и ее служанка высунулись до половины из окна и, тяжело дыша, тащили нечто, не желавшее подниматься.

– Ты опоздал... сильно опоздал, – задыхаясь и не оборачиваясь, проговорила Лалан. – Помоги же нам, болван, если не растерял еще своих сил, воя среди тазий. Тащи! Мы с Насибан больше не можем!.. О сахиб, это вы? Индуисты дубинами гнали одного старика мусульманина по краю рва. Если они опять найдут его – убьют непременно. Помогите нам втащить его.

Я взял в руки длинный красный шелковый кушак, спущенный наружу, и мы втроем тащили и тащили изо всех сил. На конце кушака висело что-то тяжелое, и оно ругалось на неизвестном языке, толкаясь о городскую стену.

– Тащи же, тащи! – проговорила наконец Лалан.

Пара коричневых рук ухватилась за подоконник, и почтенный, сильно запыхавшийся мусульманин свалился на пол. Челюсти у него были чем-то повязаны и чалма сползла на один глаз. Он был рассержен и покрыт пылью.

Лалан на минуту закрыла лицо руками и сказала что-то насчет Вали-Дада, но я не разобрал ее слов.

Потом она, к величайшему моему удовольствию, обвила руками мою шею и зашептала мне ласковые слова. Я не спешил остановить ее, а Насибан, как тактичная девушка, отвернулась к большому сундуку для драгоценностей, стоявшему в одном из углов комнаты, и принялась рыться в его содержимом. Мусульманин сидел на полу, и взор его был свиреп.

– Еще одну услугу, сахиб, раз уж ты пришел так кстати, – промолвила Лалан. – Можешь ты, – (очень приятно, когда Лалан говорит вам «ты»), – провести этого старика через город к Кумхарсайнским воротам, ведь всюду войска, и они могут обидеть его, потому что он стар. Я думаю, что там ему удастся найти повозку, которая отвезет его домой. Он мой друг, а ты... больше, чем друг... потому-то я и прошу тебя.

Насибан нагнулась к старику и сунула ему что-то за кушак, а я поднял его с пола и вывел на улицу. Пересекая город с востока на запад, мы не могли избежать встреч с войсками и толпой. Задолго до того, как дойти до улицы Всадников, я услышал крики британской пехоты, весело оравшей:

– Вперед, мерзавцы! Вперед, дьяволы! Двигайтесь! Проходите вперед, сюда! – За этим следовали удары ружейными прикладами и крики боли. Войска били толпу прикладами по голым ногам, ни одного штыка не было надето. Мой спутник что-то шептал и бормотал, и мы шли, пока толпа не отнесла нас назад, и тогда нам пришлось пробивать себе дорогу к войскам. Я схватил его за руку и нащупал на ней браслет, железный браслет сикхов, но я ничего не заподозрил, ибо десять минут тому назад Лалан обвиняла меня своими руками. Трижды толпа оттесняла нас, и, когда мы пробили себе дорогу, избежав британской пехоты, оказалось, что нам навстречу едет сикхская кавалерия и гонит перед собой другую толпу древками своих пик.

– Кто эти собаки? – спросил старик.

– Сикхи-кавалеристы, отец, – ответил я, и мы стали протискиваться вдоль ряда лошадей, стоявших попарно, и встретили помощника комиссара, в помятом шлеме, окруженного кучкой людей, пришедших из клуба играть роль констеблей-любителей и успевших оказать немалую помощь полиции.

– Мы будем гнать их до зари, – сказал Питит. – Что это у вас за безобразный приятель?

Я только успел вымолвить «Покровительство *сиркара!*», как вдруг новая толпа, бегущая впереди туземной пехоты, унесла нас на сто ярдов ближе к Кумхарсайнским воротам, и Питит исчез, как тень.

– Не знаю... не могу понять... Все это ново для меня, – простонал мой спутник. – Сколько войск стоит в городе?

– Сотен пять, кажется, – ответил я.

– *Лакх* людей побежден пятью сотнями... И среди них сикхи! Истинно, истинно, я старик, но... Кумхарсайнские ворота как будто новые. Кто стащил с них каменных львов? А где же водопровод? Сахиб, я очень стар, и, увы, я... я не в силах стоять. – Он упал под Кумхарсайнскими воротами, где было тихо.

Из мрака выступил толстый джентльмен в золотом пенсне.

– В высшей степени любезно с вашей стороны привести моего старого друга, – сказал он сладко. – Он землевладелец из Акалы. Ему не следует оставаться в большом городе, охваченном религиозным возбуждением. У меня здесь имеется экипаж. Вы действительно очень любезны. Не поможете ли вы мне посадить его в экипаж? Уже очень поздно.

Мы втащили старика в наемную коляску, которая стояла у самых ворот, и я повернул назад к дому на городской стене. Войска гоняли народ взад и вперед, а полиция гремела: «По домам! Расходитесь по домам!», и хлыст помощника окружного инспектора беспощадно шелкал. Пораженные ужасом *баньи* цеплялись за стремяна кавалеристов, крича, что дома их разграблены (это была ложь), и дородные всадники-сикхи хлопали их по плечу и убеждали вернуться в эти дома, предупреждая, что в противном случае им придется еще хуже. Кучки британских солдат, по пять-шесть человек, с ру-

жьями за спиной, мчались, взявшись за руки, по переулкам и с криками и песнями наступали на ноги индуистам и мусульманам. Никогда еще религиозный энтузиазм не подавляли так систематически, и никогда несчастные нарушители тишины и спокойствия не казались такими истомленными и измученными. Их выгоняли из ям, из-за углов, из-за колодезных столбов, из хлевов и заставляли расходиться по домам. Если же, за неимением постоянного местожительства, им некуда было пойти, тем хуже доставалось их ногам.

Вернувшись к дверям Лалан, я наткнулся на человека, лежавшего на пороге. Он истерически всхлипывал, и руки его трепетали, как крылья гуся. Это был Вали-Дад, агностик и атеист, босой, без чалмы, с пеной у рта; грудь его была разодрана, и из нее сочилась кровь – так яростно он бил себя в грудь. Рядом с ним лежала сломанная ручка факела, и, когда я наклонился к юноше, дрожащие губы его пролепетали:

– Йа, Хасан! Йа, Хусайн!

Я протащил его несколько ступеней вверх по лестнице, бросил камешек в выходявшее на улицу окно Лалан и поспешил домой.

Почти на всех улицах настала глубокая тишина, и холодный предрассветный ветер свистел между домами. В центре площади Мечети какой-то человек склонился над трупом. Череп покойника был разбит ружейным прикладом или бамбуковой дубинкой.

– Одному человеку надлежит умереть за народ, – мрачно

произнес Питит, приподнимая бесформенную голову. – Эти негодяи начали слишком явно показывать свои зубы.

А издали доносилось пение солдат. Они распевали песню «Пара чудных черных глаз», загоняя остатки бунтовщиков в дома.

Вы, конечно, догадались о том, что произошло? Я был не так догадлив. Когда распространилась весть о бегстве Кхем-Сингха из Форта, я, который в то время не писал этого рассказа, а переживал его, не заметил связи между исчезновением старика и собой, или Лалан, или толстым джентльменом в золотом пенсне. Мне также не пришло в голову, что Вали-Дад был тем человеком, которому поручили провести старика через город, и что руки Лалан, обвивавшие мою шею, обвились только для того, чтобы скрыть от меня, как Насибан давала ему деньги, и что Лалан использовала меня и мое белое лицо в качестве лучшей охраны, чем Вали-Дад, который оказался столь недостойным доверия. В то время я узнал лишь следующее: когда Форт Амара был занят подавлением бунта, Кхем-Сингх воспользовался суматохой и убежал, а два его сикхских стража удрали тоже.

Но впоследствии все мне стало ясно; и Кхем-Сингху также. Он бежал к тем, кто знал его в старину, но многие из них умерли, а большинство изменилось и знало кое-что о гневном правительстве. Он обратился к молодежи, но слава его имени померкла, и молодежь стала поступать в туземные полки или государственные учреждения, а Кхем-Сингх не

мог дать им ни пенсии, ни орденов, ни влияния – ничего, кроме славной смерти спиной к пушечному жерлу. Он писал письма, давал обещания, но письма попадали в скверные руки, и один совершенно незначительный низший полицейский чиновник перехватывал их и за это получил повышение. Кроме того, Кхем-Сингх был стар, а анисовой настойки не хватало; а серебряные кастрюли он оставил в Форте Амаре, вместе с хорошей теплой постелью; а джентльмену в золотом пенсне наниматели его сообщили, что Кхем-Сингх не может стать популярным вождем и не стоит потраченных на него денег.

– Велика милость этих дураков англичан, – сказал Кхем-Сингх, когда ему разъяснили положение. – Я вернусь в Форт Амару по доброй воле, и мне окажут почет. Дайте мне хорошую одежду, и я вернусь туда.

Итак, однажды Кхем-Сингх постучался в калитку Форта и пошел к коменданту и его помощнику, которые едва не поседали от корреспонденции, ежедневно приходившей из Симлы и помеченной «секретно».

– Я вернулся, капитан-сахиб, – сказал Кхем-Сингх. – Можете больше не приставлять ко мне стражей. Там, снаружи, нет ничего хорошего.

Неделю спустя я впервые увидел его, уже зная о том, кто он такой; он вел себя так, словно между нами было известное соглашение.

– Ловко вы поступили, сахиб, – сказал он, – и я очень

восхищался вашей находчивостью: вы так смело пошли навстречу войскам, когда я, которого они, несомненно, разорвали бы на куски, был вместе с вами. Теперь в Форте Ул-тагархе содержится узник, которому смелый человек легко помог бы убежать. Вот местоположение Форта. Я нарисую его на песке...

Но я думал о том, что все-таки стал *вазиром* Лалан.